

## Ганс Гейнц Эверс Господа юристы

Рыбам, хищным животным и птицам дозволено пожирать друг друга, потому что у них нет справедливости. Но людям Бог дал справедливость.  
Isidorus Hisp. Orig. sea etym. libr. XX

- Поверьте мне, господин ассессор, - сказал прокурор, - юрист, который после некоторой, скажем, двадцатилетней практики не придет к абсолютному убеждению, что каждый уголовный приговор (хотя бы в каком-нибудь отношении) - позорная несправедливость, такой юрист - совершенный болван. Всякий из нас прекрасно знает, что уголовное право - реакционнейшая вещь, ибо три четверти параграфов в уголовных кодексах всего мира с самого момента своего вступления в законную силу уже не соответствуют требованиям времени. "Дряхлые старцы с момента своего рождения", - как сказал бы мой делопроизводитель, который, как вам известно, самый остроумный человек в, нашем городе.

- Да вы явный анархист! - рассмеялся председатель суда. - За ваше здоровье, господин прокурор!

- За ваше здоровье, - отвечал последний. - Анархист? Что ж, пожалуй. По крайней мере в нашей компании, в среде представителей судебной магистратуры. И я руку дам на отсечение, что все вы, господа, и в особенности вы, господин председатель, совершенно разделяете мои убеждения.

- Вот в Берлине в настоящее время собираются выпустить в свет новое исправленное и дополненное издание нашего уголовного уложения, промолвил с улыбкой председатель. - Составьте докладную записку и пошлите в комиссию. Тогда, быть может, получится в самом деле что-нибудь путное.

- Вы уклоняетесь в сторону, - возразил прокурор, - и тем доказываете, что согласны со мною. Докладная записка? Какой прок от нее? Ни я, ни другой кто-либо не сможет изменить этого. Маленькие улучшения мы можем сделать: мы можем выкинуть два-три слишком глупых параграфа, но коренное улучшение невозможно. Уголовное право само по себе есть неслыханнейшая несправедливость.

- Ну, позвольте, однако, - воскликнул председатель.

- Я могу повторить вам ваши собственные слова, - продолжал, не смущаясь, прокурор. - Помните: банкир, которого мы на днях присудили за злостное банкротство к четырем годам смиренного дома, при объявлении приговора воскликнул: "Я не переживу этого!" И достаточно было поглядеть на него, чтобы убедиться, что он прав и что ему уже не выйти живым из стен смиренного дома.

По другому делу мы присудили к такому же наказанию пароходного кочегара, обвинявшегося в изнасиловании. И негодяй промолвил совершенно довольным тоном: "Благодарю, господа судьи, наказание мне подходит. Это не так худо поступить на полный пансион". И вот вы тогда сказали мне, господин председатель: "Однако это явная несправедливость: то, что для одного медленная мучительная смерть, для другого - удовольствие. Это скандал!" Ведь вы сказали это?

- Несомненно, - ответил председатель. - И я полагаю, что все присутствовавшие тогда в заседании разделяли это мнение.

- И я полагаю то же, - подтвердил прокурор. - Это маленький пример вечной несправедливости всякого наказания. Вы должны, кроме того, принять в соображение еще и то обстоятельство, что мы в обоих случаях - я, как представитель обвинения, и вы, как судьи - не были нелицеприятны: мы находились под влиянием, как будем и впредь находиться под влиянием в каждом отдельном случае до тех пор, пока окончательно не окостенеет и не

превратимся в безвольные машины и ходячие параграфы. При разборе дела банкира, в гостеприимном доме которого мы бывали и которого во всех иных отношениях мы ценили и уважали, мы дали подсудимому снисхождение, назначив ему минимум наказания: меньше, как четыре года смиренного дома, мы уже не могли назначить за его преступление, которое пустило по миру сотни небогатых семей. Между тем в другом деле наглое, вызывающее поведение кочегара с первого же мгновения восстановило нас против него, и мы назначили ему вдвое более, чем назначили бы всякому другому при таких же обстоятельствах. И, не смотря на это, банкир оказался наказанным несравненно сильнее. Что такое представляет для простого человека краткосрочная высидка в тюрьме за кражу? Ничего! Он отбудет наказание и позабудет его на другой же день. Но адвокат или чиновник, совершивший ничтожную растрату и присужденный хотя бы к одному дню ареста, уже потерян для жизни: он будет извергнут из своего звания и в социальном отношении будет погибший человек. Разве это справедливо? Я могу привести еще более резкий пример. Что такое смиренный дом для человека универсального образования и наивысшей культуры, для Оскара Уайльда? Справедливо он осужден или несправедливо, относится ли осудивший его знаменитый параграф к средним векам или не относится - все это совершенно безразлично. Но суть в том, что то же самое наказание для него в тысячу раз тяжелее, чем для всякого другого. Все современное уголовное право построено на принципе всеобщего равенства, которого мы не имеем... и, быть может, не будем иметь никогда... И по этой причине почти каждый уголовный приговор не может не быть несправедливым. Фемида - богиня несправедливости, и мы, господа, ее слуги.

- Я не понимаю, господин прокурор, - заметил маленький мировой судья, почему вы при таких взглядах не предпочтете повернуться к госпоже Фемиде спиной?

- И тем не менее это очень понятно, - ответил прокурор, - я не независим. У меня семья. Поверьте мне, что даже то маленькое жалованье, которое мы все так браним, крепко привязывает к судейскому креслу огромное большинство из нас, едва только мы прислушаемся к голосу благоразумия. А помимо того, я и на другом поприще натолкнулся неминуемо, на то же самое. Вся наша общественная система построена на несправедливости. Это основание.

- Но если все это так, - сказал председатель, - то ведь сами же вы сказали, что изменить это невозможно. В таком случае зачем же растравлять болящие раны, раз мы не можем их исцелить?

- Болящие раны? Да. Но это какая-то сладострастная боль, - ответил прокурор. - После каждого приговора я ощущаю противный горький вкус во рту. И что это у всех так - это доказывает ваше замечание, господин председатель, которое я только что повторил вам... Я чувствую себя машиной, рабом жалких параграфов. И по крайней мере хоть здесь, за кружкой пива, я хочу иметь право самостоятельно мыслить...

Он поднес кружку к губам и опорожнил ее. И затем продолжал задумчивым тоном:

- Видите ли, господа, в ближайший вторник мне опять! придется присутствовать при смертной казни. И меня мороз! дерет по коже при мысли...

Секретарь вытянул голову:

- Ах, господин прокурор, - прервал он его, - не можете ли вы взять меня с собою? Мне ужасно хотелось бы увидеть казнь. Пожалуйста!

Прокурор поглядел на него с горькой улыбкой.

- Ну, конечно, - промолвил он, - конечно. Так и я клячил в первый раз. Я отсоветую вам, но вы будете упорствовать. А если я вам откажу, то не сегодня-завтра вас возьмет с собой другой коллега. Итак, я вас возьму, но могу вас уверить, что вам будет стыдно, как никогда во всю жизнь.

- Благодарствуйте, - промолвил секретарь и поднял стакан. - Очень благодарен вам. Разрешите мне выпить за ваше здоровье?

Но прокурор не слышал. Он был поглощен мрачными мыслями.

- Знаете, - обратился он к председателю, - что самое ужасное? То, что преступление -

позорное, гнусное преступление - приводит нас к мысли, что оно все-таки гораздо выше - о, еще как выше, - чем мы, якобы непогрешимые судьи справедливости. И что оно, при всем своем бездонном беззаконии, являет собою силу, которая развеивает по ветру всю ветошь наших формул и словно огнем расплавляет железный панцирь законов и параграфов, прикрывавший нас. И мы, словно голые черви, ползаем пред ним в пыли.

- Любопытно, к чему вы клоните? - промолвил председатель.

- О, я вам расскажу сейчас случай, - предложил прокурор, - который произвел на меня самое сильное впечатление, какое я когда-либо испытывал в жизни. Это было четыре года тому назад, 17 ноября. Я присутствовал тогда в Саарбрюкене при гильотинировании разбойника Кошиана. - Мари, еще кружку! прервал он себя.

Толстая кельнерша не заставила себя ждать. Она сделалась очень внимательной, услышав, что речь идет о разбойниках и гильотине.

- Рассказывайте! - настаивал секретарь.

- Подождите! - воскликнул прокурор. Он поднял стакан и провозгласил: Я пью в память этого гнуснейшего из преступников, этого исчадия человечества, который, однако, быть может, был герой!

Медленно поставил он кружку на стол. Все молчали.

- За исключением вас, господин секретарь, - продолжал он, - вероятно, все вы, господа, хоть раз в жизни были свидетелями этого мрачного зрелища. Вы знаете, как ведет себя при этом главное действующее лицо. Такой герой эшафота, какого изображает в своей "Песни о Ла-Рокетт" известный монмартрский поэт Аристинд Брюан, - очень редкое исключение. Поэт вкладывает в уста преступнику следующие слова: "Спокойным шагом я пойду, как патерчинный. Не дрогну я, не упаду пред гильотиной. Молчать? Молиться? Плакать? Нет!.. Не буду ждать я - и пусть услышит Ла-Рокетт мои проклятья!" Это очень эффектное предисловие для убийцы, но я боюсь, что в действительности было иначе. Я боюсь, что герой "Песни о Ла-Рокетт" вел себя совершенно так же, как его берлинский коллега Ганс Гиан, который оставил такой монолог, озаглавленный им "Последняя ночь": "Едва мигает синий глаз. Уж утро брезжит за решеткой. Ну, Ганс, крепись! Пришел твой час. А жизнь прошла, как сон короткий. Они идут... Ну, что ж... Пускай!.. Взгляну в глаза я смерти прямо... Прощай же, Божий мир! Прощай!.. Простите все... О, мама! Мама!.." Этот ужасный крик "Мама, мама!" - крик, который потом никогда не забывается, если имеешь несчастье услышать его, есть нечто характерное для того, о чем идет речь. Бывают, конечно, исключения, но они реже редкого. Прочтите мемуары палача Краутса, и вы узнаете, что из его ста пятидесяти шести клиентов только один вел себя "как мужчина". Это был именно покушавшийся на убийство короля Годель.

- Как он вел себя? - спросил секретарь.

- Вас это так интересует? - продолжал прокурор. - Ну, так, видите ли, он предварительно побеседовал с упомянутым Краутсом и обстоятельно расспросил его обо всем, что касается казни. Он обещал палачу хорошо разыграть свою роль и просил не связывать ему рук. Краутс отклонил эту просьбу, хотя, как оказалось потом, мог бы вполне удовлетворить ее. Годель спокойно наклонился, положил голову на подставку, нагнулся немного, поглядел вверх и спросил: "Хорошо так будет, господин палач?" "Немножко более вперед!" - заметил последний. Преступник подвинул голову немного вперед и снова спросил: "А теперь правильно?" Но на этот раз палач уже не ответил. Теперь было правильно... Блестящий топор правосудия упал, и голова, которая все еще ожидала ответа, покатилась в мешок. Краутс сознался, что он поспешил с совершением казни из страха. Он говорит, что если бы он еще раз ответил преступнику, то не имел бы силы исполнить свой долг до конца...

Итак, в этом случае мы имеем исключение. Но стоит только прочитать акты этого безумного, бессмысленного и бесцельного покушения, и тогда становится ясно, что в лице Годеля мы имеем дело с явно ненормальным человеком. Его поведение сначала и до конца было неестественно.

- А какое же бывает естественное поведение у человека, которого казнят? - спросил

белокурый ассессор.

- Вот это-то я и хочу сказать! - возразил прокурор. - Несколько лет тому назад я присутствовал в Дортмунде при казни одной женщины, которая с помощью своего возлюбленного отравила мужа и троих детей. Я знал ее еще до процесса, и я именно и возбудил обвинение против нее. Это была грубая, невероятно бессердечная женщина, и я не упустил сравнить ее в своей речи с Медеей, хотя в числе присяжных заседателей было три гимназических учителя... Ну-с, так видите ли, в Дортмунде казни совершаются в новой тюрьме, которая находится за городом. А убийца содержалась в старой тюрьме, в городе. И вот в то время, когда ее перевозили в пять часов утра в новую тюрьму, она кричала в своей карете, как одержимая. Я думаю, половина Дортмунда была пробуждена этим ужасным "мама, мама!" Я ехал с судебным врачом во второй карете; мы затыкали уши пальцами, но это, конечно, нисколько не помогало. Переезд тянулся вечность, как нам казалось, и когда, наконец, мы вышли из кареты, с бедным доктором приключилась морская болезнь. Да и я, сказать правду, был недалеко от этого...

В то время, когда эту женщину вели на эшафот, ей удалось освободить связанные сзади руки, и она обхватила ими свою открытую шею. Она знала удар падет на шею, и она хотела защитить это подвергавшееся опасности место... Три помощника палача - здоровенные детины, грубые мясники кинулись на нее и стянули ей руки. Но как только ей удавалось высвободить хоть одну руку, она с отчаянной силой схватывалась за шею. Ее ногти впивались в тело, словно звериные когти. Она была убеждена, что, пока она держит руку на шее, ее жизнь будет в сохранности. Эта позорная борьба длилась пять минут. И в течение всего этого времени утренний воздух был потрясаяем ее раздирающим воплем: "Мама! Мама!"

Наконец у одного из помощников палача, у которого она почти откусила палец (доктору потом пришлось ампутировать его), лопнуло терпение. Он сжал кулак и хватил им женщину по голове. Она повалилась, на мгновение оглушенная. И, конечно, этим случаем воспользовались... Так вот видите, господин ассессор, поведение этой женщины было естественное...

- Тьфу, черт! - промолвил ассессор и выпил пиво.

- Полноте! - воскликнул прокурор. - Я уверен, что и вы не вели бы себя иначе... И я тоже. Вы ведь были вместе со мной на последней казни? Помните, что там было? Совершенно то же было и с теми, созерцать которых имели несчастье остальные наши коллеги, и с теми четырнадцатью или пятнадцатью, при казни которых присутствовал, согласно долгу, я... Полумертвые от страха, тащились они во двор. Они не шли. Приходилось силой нести их вверх по ступеням, к гильотине или виселице. Всегда одно и то же. Отклонения очень редки. И всегда этот отчаянный призыв к матери, как будто она может помочь здесь чем-нибудь. Я знал одного парня, который сам убил свою мать и тем не менее в эту последнюю четверть часа, как обезумевший, звал ее на помощь... Из этого явствует, что палач имеет дело не со взрослыми людьми, а со слабыми, беспомощно кричащими детьми...

- Однако, - заметил председатель, - вы совершенно уклонились от темы.

- В этом виновен секретарь, господин председатель, - возразил прокурор, - ему непременно захотелось послушать о Гуделе. Но вы правы. Я должен вернуться к теме.

Он выпил свою кружку и продолжал:

- Вы согласитесь со мной, господа, что казнь на всех присутствующих производит самое ужасное впечатление. Мы можем сто раз повторять себе: с негодяем поступлено по всей справедливости; для человечества настоящая благодать, что преступнику отрубает голову, и тому подобные прекрасные рассуждения... Но мы никогда не можем отвертеться от мысли, что отнимаем жизнь у совершенно незащитного человека. Этот крик "мама, мама!", который напоминает нам о нашем собственном детстве и о нашей собственной матери, никогда не преминет напомнить нам, что мы совершаем постыдное, трусливое дело. И все, что мы говорим в защиту себя, кажется нам, по крайней мере в эти четверть часа, дурной, бессодержательной риторикой и празднословием. Ведь верно это?

- Я, со своей стороны, вполне разделяю это мнение! - подтвердил председатель.

- Очень приятно! - промолвил прокурор. - Надеюсь, что и остальные коллеги придерживаются того же мнения. Не угодно ли будет им проверить свои чувства в течение моего дальнейшего рассказа.

- Итак, четыре года тому назад я передал разбойника Кошиана в руки исполнительной власти. Это был молодой человек, который, несмотря на свои девятнадцать лет, однако, уже имел за собою крупную уголовную судимость. И последнее его; преступление было одним из грубейших и гнуснейших, какие только прошли передо мною в моей практике. Он шел чрез Эйфель, встретился в лесу с другим бродягой и убил его палкой, чтобы отобрать у него всю его наличность, семь пфенингов. Это, конечно, еще не есть нечто исключительное, но вы можете) представить себе невероятную жестокость этой бестии по дальнейшим подробностям. Спустя три дня после убийства, руководимый тем необыкновенным чувством, которое так часто гонит преступника обратно к своей жертве, он снова отправился в тот же лес и нашел там своего старика. Старик был еще жив; он лежал в придорожной канаве, в которую столкнул его убийца, и тихо стонал. Каждый человек, у которого была бы хоть искорка чувства, убежал бы в этот момент в ужасе, "преследуемый фуриями", как выражается мой письмоводитель. Но Кошиан поступил иначе: он снова взял палку и разбил старику череп. После того он еще целый день оставался тут, неподалеку от жертвы, чтобы убедиться, что на этот раз он уже довел дело до конца. Он еще раз обшарил у убитого карманы - увы, тщетно! - и спокойно пошел прочь.

Спустя несколько дней он был арестован. Сначала он отпирался, но подавляющие улики привели его к циническому признанию, которому мы и обязаны всеми этими подробностями. Дело его тянулось недолго и, конечно, завершилось смертным приговором. Верховная власть не пожелала воспользоваться; своим правом помилования, и таким образом спустя короткое время на меня опять была возложена обязанность присутствовать при совершении казни.

Было темное, сырое ноябрьское утро. Казнь была назначена ровно в восемь часов. Когда я, в сопровождении врача, вошел на тюремный двор, палач Рейндль, привезенный накануне вместе с гильотиной из Кельна, давал своим помощникам последние указания. Как водится, он был во фраке и белом галстуке. С трудом натянув белые лайковые перчатки на грубые руки мясника, он заботливо осмотрел деревянное сооружение и машину, велел вбить еще пару гвоздей и подвинуть немного вперед мешок и слегка попробовал пальцем острие топора.

И как всегда при совершении казни, так и теперь, мне пришла на память старая революционная песенка, которую сокрушители Бастилии сложили об изобретателе убийственной машины. Невольно губы мои шептали:

Guillotин,  
Mddecin  
Politique,  
S' imagine un beau matin,  
Que pendre est trap inhumain  
Et peu patriotique.  
Aussitbt  
Il lui faut  
Un supplice  
Qui sans corde ni couteau  
Lui fait du bourreau  
L'office...

Мне помешали. Старик тюремный директор пришел ко мне с известием, что все готово. Я приказал привести преступника, и вскоре вслед за тем отворилась дверь, ведущая из тюрьмы во двор. Убийца, со связанными назади руками, шел в сопровождении полудесятка тюремных сторожей. К нему подошел священник, но он отверг его напутствие в грубых

выражениях. Он шел с очень веселым видом, сохраняя надменное и наглое выражение лица, которое было у него и во время слушания его дела. Он пытливо осмотрел сооружение, а затем бросил острый взгляд на меня. И, словно угадав мои мысли, он вытянул губы и громко засвистел: "Та-та-та, ти-ти-ти, та-та-та!" Меня подрал мороз по коже! Бог его знает, откуда он подцепил этот мотив? Его подвели к ступенькам эшафота. Я начал, как полагается, читать приговор: "Именем короля..." и т. д. И пока я читал, я все время слышал насвистыванье революционной песенки той самой, которая у меня самого вертелась в голове: "Та-та-та, ти-ти-ти, та-та-та!"

Наконец я кончил. Я поднял голову и предложил преступнику обычный вопрос: не имеет ли он чего-нибудь заявить? Вопрос, на который обыкновенно не ждут никакого ответа и за которым следует: "Тогда я передаю вас в руки правосудия". Нет ничего ужаснее этого последнего момента, этих последних секунд пред всемогущей смертью... Эти секунды так же мучительны для тех, кто совершает эту смерть и созерцает ее, как и для того, кто ее принимает. В этот момент сжимаются легкие, и застывает кровь; горло словно стягивается шнурком, и на чувствуется отвратительный привкус крови.

Я видел, как разбойник бросил последний взгляд вокруг себя, на все наше маленькое собрание: на священника, на врача, на меня и на тюремщиков. Он громко засмеялся и невыразимо презрительным тоном воскликнул:

- Все вы...

Он произнес отвратительное площадное слово. Помощники палача бросились на него, свалили его, стянули ремнями и толкнули вперед. Палач нажал кнопку. Топор с тихим шелестом покатился вниз, и голова прыгнула в мешок. Все это делается так чудовищно быстро...

Я услышал около себя тихий вздох, в котором звучало как бы освобождение. Это вздохнул тюремный священник, чувствительный, слабонервный человек, который после каждой казни лежал больным целую неделю.

- Черт возьми! - воскликнул старый директор. - Вот уж тридцать лет, как я управляю этим заведением, но сегодня первый раз не чувствую необходимости выпить водки после этой церемонии.

Когда на другой день врач принес мне протокол для приобщения к делу, он сказал мне:

- Знаете, господин прокурор, я всю ночь думал об этом: ведь тот негодяй был господином положения.

- Да, господа! Он был господином положения. И все мы были в то мгновение благодарны ему за его освобождающее слово, и если об этом пораздумать, то мы и теперь чувствуем благодарность, хотя и против нашей воли: Вот это-то и есть самое ужасное: своим освобождением от тяжелой душевной муки мы были обязаны ужасному злодею и отвратительнейшему гнуснейшему площадному слову, какое только знает народный язык. Своим освобождением мы были обязаны сознанию, что этот мерзкий и низкий преступник с его отвратительным ругательным словом все-таки был выше нас, добродетельных суде представителей государства, церкви, науки, права и всего того, для чего мы живем и работаем.

Берлин. Декабрь 1904